

## ИРКУТСКИЙ МИФ: между самобытным и несамодостаточным 2007

У Иркутска, как и у всякого большого города, есть все права на собственный большой миф, т. е. на утверждение особой значимости этого социально-культурного пространства не только для местных патриотов, но и для общенациональной истории. У Иркутска права даже поосновательнее, чем у его соседей по региону, – в силу известного географического положения и давнего административного статуса. И если пространственный ореол бывшего центра Сибирского генерал-губернаторства свернулся до не самой обширной по сибирским меркам области, то историческая память свои объёмы только наращивает. Но всякое умноженное знание вместе с богатством аккумулирует печали: сознание «особости» в настоящее время не особо обосновано – ни экономически, ни политически, ни культурно.

Уже само словосочетание «провинциальная столица» – чистый оксюморон, и эта антиномия создаёт специфичную духовную коллизию (но не обязательно драму) для носителей: определяет содержание мифа, но и предполагает оценку его содержательности. Так, ни московскому, ни петербургскому мифу нет никакой необходимости доказывать себе и другим собственную значимость, они сами себя умножают и как бы погружены в самосозерцание. Феномен провинциального мифа замешен на комплексе самобытности-неполноценности, что создаёт алогичную ситуацию несамодостаточности самого мифа и порождает его авторефлексию.

Как сам город стоит на пространственном и историческом распутье-перекрёстке, так и самосознание жителей пребывает на «распятье» любви и обиды, гордости и ущемлённости, самостояния и необходимости учитывать «авторитет» центра. «Местный» миф, соотнося себя с «внешними», «большими» мифами, сознаёт себя локальным – и потому не абсолютно самоценным. Но должен противиться этому, если хочет остаться мифом – общепризнанным здесь



и узнаваемым сейчас всеми посвящёнными образом чувствования-миропонимания, оправдывающим здешнее существование. Эмоциональный фактор так же институционально значим, как и содержательный. Он обеспечивает мифу живучесть и достоверность.

Литература, как обычно, не только фиксирует, но и творит местный миф. Она же и «отвечает» за его оформление и даже духовное обеспечение. Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского и др. – разные измерения, которые столь же реальны, как и сам город. Мы смотрим на мир глазами поэта и художника. Или сопротивляемся, оттачивая своё видение. У иркутского мифа нет собственного Автора, хотя город присутствует в повестях и драмах самых выдающихся писателей второй половины XX века. Уже это – повод для раздумий о природе иркутского мифа, который по своей иррациональности не уступит иным столичным. Начиная с нонсенса: город строился и стоит на Ангаре, но называется Иркутск, а соседний Ангарск эту реку и в глаза не видит. «Середина земли», как сказано в лирическом гимне 60-х, была и остаётся транзитным пунктом: сначала по нехоженным дебрям, а потом по Транссибирской магистрали – то на пути к великим стройкам, то, кажется, в начавшемся процессе исхода-возвращения в пределы Московии. Или просто – место пересадки по дороге на Байкал, великий миф которого безусловен и обеспечен всесветной славой.

Тем не менее иркутский миф существует – и существует именно стереоскопически: в соотношении местной и общенациональной оптики.

### МИФ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

*Время.* Сама дата основания города принята с учётом государственных интересов. Первое упоминание в «Летописи г. Иркутска» В. и А. Сибиряковых относится к 1652 году: «Прибыл отпавленной ис Тоболска сын боярской Ерафей Заболоцкой в Мунгалскую землю посланником» [1, с. 17]. И далее фиксируется продвижение отрядов, в том числе в 1656-м году того самого воеводы Афанасия Пашкова, с которым прошёл по Ангаре и Байкалу в Даурию ссыльный протопоп Аввакум, никак, впрочем, Иркутск в своем «Житии» не помянувший. Но поселение, видимо, существовало уже официально и вело свою канцелярию. «Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова (Иркутск, 1911) тоже начинаются 1652 годом – упо-



минанием о зимовье на Дьячем острове (при впадении Иркута), поставленном Иваном Похабовым, сыном боярским.

Получается, как в Библии: в начале было слово – имя города, а потом уже само его сотворение. Ибо официально признанный день основания – 6 июля 1661 года – приводится по донесению Якова Похабова. Он оправдывается, почему строительство начато на чистом месте «против Иркута реки на Верхоленской стороне», а не в устье Иркута или вверх по нему, как было приказано (и где, видимо, были предприняты первые и неудачные попытки закрепиться). Мотивировка была убедительная: «а опроче того места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие» [2, с. 14]. Острог с уже готовым именем должны были возводить по челобитной «бурятского князца Яндаша» и на его прииркутных землях – для сбора ясака и защиты от притеснений со стороны красноярских казаков [2, с. 14]. Следовательно, это строительство стало результатом примирения-компромисса после жестоких столкновений местного населения с пришедшими русскими. С этой поры угроза существованию города исходила только от самого времени и от стихийных бедствий.

Именно так в начале уже III тысячелетия герой пьесы «Город где я» представляет «столицу Восточной Сибири»: «Здрасьте. Сейчас я буду рассказывать вам о нашем городе. Называется он Иркутск по названию реки Иркут. А краткая история города такова: в 1661 боярский сын Яков Похабов вместе с казаками начал строительство Иркутского острога. Этот острог простоял девять лет, после чего прогнил и развалился. А в 1669 была построена крепость с четырьмя башнями и названа кремлём. Ну, а уже в 1686 году Иркутский острог возведён в ранг города и пожалован своей печатью. На гербе города, как и в наши дни, был изображён бабр с соболем в зубах. Так что официально нашему городу 315 лет». Примечательно, что развязный голос персонажа воспроизводит стандартную формулу «первотворения» как визитную карточку, но знаменательна и оговорка про *официальное* летоисчисление. Автор пьесы – Иван Вырыпаев, восходящая звезда «новой драмы», но текст был написан в 2001 году, ещё до отъезда в Москву и «опробован» на иркутянах, вполне привыкших к известным цифрам.

*Пространство.* Описанием местоположения Иркутска открывается первое большое произведение сибирской прозы «Дочь купца Жолобова. Роман, извлечённый из сибирских преданий» (1832) Ива-



на Калашникова (1797–1863). Петербургский чиновник и уроженец Иркутска, он адресовал своё сочинение не землякам, но всему читающему сообществу и начинал его вдохновенно: «Из губернских городов Сибири Иркутск, бесспорно, есть больший и красивейший. Он стоит на мысу, омываемый с запада и севера Ангарою, а с востока небольшою речкою Ушаковкою; на юг примыкается к горе, называемой Петрушиною, с севера также представляются горы в виде амфитеатра, посреди которого величественно протекает Ангара. В самом центре сего амфитеатра возвышается гора Верхоленская, на правой стороне – Клубничная, а на левой, за Ангарою, – Кузьминская, за которою по обширной долине протекает маленькая речка Кая. <...> Эпоха улучшения сего города начинается лет за двадцать. Теперь, к удивлению приезжающих, встречаются в нём прекрасные, большей частью окрашенные дома, улицы также большею частью прямые, инда снабжённые тротуарами, хороший публичный сад и даже... кофейный дом – самый ясный признак просвещения» [3, с. 5–6].

Такое описание – типичное для местных патриотов желание продемонстрировать настоящий европейский лоск: пространство уподоблено величественной античной сцене с горами-амфитеатром, улицы – прямые (как, очевидно, в самом Петербурге), чистые, с французским названием деревянных настилов – «тротуары», с достойным местом проведения досуга – кофейней. А всё дикое и ужасное отнесено в прошлое – в середину XVIII века, время чудовищного произвола и городского убожества. Теперь эта топография узнаётся только по названиям рек, а на вопрос: «Кто не знает прекрасного местоположения деревушек: Царь-Девицы, Кузьмихи, Разводной и пр.?» [3, с. 5–6] – ответ даёт Комментарий: «на месте Кузьмихи построен городок строителей Иркутской ГЭС, на месте Царь-Девицы – политехнический институт» [3, с. 656]. Больше подробного описания иркутского ландшафта мы не встретим – писателей как будто не волнует пространство и не трогает само звучание его названий.

*Прогресс.* Почти через сорок лет второй роман об иркутской жизни «Шаг за шагом» (1870) начинается отнюдь не так благостно, поскольку жизнь эта отстала от требований времени. Теперь «один из лучших губернских городов Восточной Сибири» называется уже по имени невзрачной речки – Ушаковск, а по главной улице, прямой и широкой, навстречу въезжающему в город молодому и деятельному герою шествует стадо коров. Написанный тоже в Петербурге роман – отнюдь не плод ностальгии и не повод познакомить читаю-



щую публику с сибирской экзотикой. Поэт и прозаик И. В. Омулевский (Фёдоров) (1836–1883), в честь которого, как принято считать, названа улица Омулевская, принадлежал к умеренному крылу демократов и представлял литературу «с направлением». Поэтому «передовой герой» Светлов, вернувшись из столицы в сонный Ушаковск, не только ставит, но энергично решает «вопросы» свободы мышления, народного просвещения, а также женский и рабочий «вопросы». Такой подход и даже художественное воплощение были одобрены самим М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Но с точки зрения «иркутского мифа» роман интересен именно как первый опыт здешнего нигилизма – самого решительного отторжения всего местного как безнадёжно отсталого. Положительные персонажи – ссыльные, их дети и единицы из местной молодёжи, природа не вызывает ни малейшего интереса, ничто не привязывает героев к городу, который всем рано или поздно предстоит покинуть. Радикальность разрыва с действительностью можно было бы объяснить не тенденциозностью, а мерой таланта. Но любопытно, что живые картины всё-таки присутствуют и посвящены детству Светлова на Камчатке, и это, видимо, собственные воспоминания писателя. С 6 лет он жил в Иркутске и не запомнил здесь ничего, что могло бы стать примером свободной мысли и воли, всё идеальное – или в столице, или на окраине, на границе с Америкой. Примечательно, что и у Калашникова всё героическое тоже происходило за пределами Иркутска – на Байкале или на Амуре: устами негибавшего старика, сына Ерофея Хабарова, рассказывается о походах и о мужественном отстаивании крепости Албазин. Усилиями автора события максимально приближены через ощущение времени: крепость была скрыта по договору 1689, а рассказывается об этом примерно через 70 лет ещё крепким и неуёмным старцем. Очевидно, Калашников ощущал единство героического времени, в котором житель Иркутска духовно соучаствует в подвигах сибирских первопроходцев. Но Омулевский разрывает связь времён именно в пространстве Ушаковска.

В советские годы П. П. Петров (1892–1941) поступает ещё радикальнее. В романе «Золото» (1934) действие начинается осенью 1916 года в тайге, а разворачивается уже в 30-е на тех же приисках. Назначение Иркутска в этой коллизии – стать местом испытания героя на сопротивление злу и повернуть его судьбу. Молодой старатель Гурьян Нарыков попадает в воровской притон, но, почти невольно участвуя в знаменитом разбойном промысле – охоте «арканщика» на девушку, встаёт на её защиту. Действие происходит морозной ян-



варской ночью 1917 года, во время ледостава (для иркутян это особо знаменательное событие, все местные летописи из года в год фиксируют его дату и обстоятельства). Но названия города и реки не упомянуты – они не имеют никакой ценности, не то что имя собственное прииска Улентуй, жизнь которого и должен преобразить энтузиаст советского строительства.

Герой, потерявший сознание в смертельной схватке в начале революционного года, очнулся в следующей главе уже в году 1933-м директором этого прииска, и ему опять приходится бороться – уже с вредителями. Иркутск появится ещё раз, но так и останется «большим краевым городом» [4, с. 414], центр которого, разумеется, – не архаический, не культурный и даже не административный, а индустриальный. Сердце бьётся там, где гигант советской промышленности (закрывшийся ныне Завод тяжёлого машиностроения им. В. В. Куйбышева) производит драги, тяжёлые машины – и уже потому противостоит старому и тёмному: «Двухэтажные корпуса механического завода заняли два больших квартала и глаголем повернули от города к лесистым, подёрнутым тёмной синевой взгорьям. Механический завод – сын первой пятилетки, гордость золотой промышленности СССР. От городских построек корпуса завода отгородились крепостью красных стен, глазастым светом частых окон. Посредине квартала в окружении тополей – дом культуры и отдыха, построенный ударной лавой металлистов. Дом превзошёл красотой стили отшумевших веков, отверг дикие вкусы торговых мещан сибирского капитализма» [4, с. 203]. Ирония судьбы в том, что ныне здесь царит ночной клуб «Фортуна». Полуразвалившийся в годы советской власти образец конструктивизма сгорел в знаменательное время начала 90-х, перестроен и скрыт теперь за стеклянным фасадом в стиле high-tech, так приглянувшимся сибирским капиталистами новой формации. Время индустриализации обособило новую историю от города, стёрло его имя, а время постиндустриальное в свою очередь стёрло прежние славные имена.

### МИФ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Он запечатлён в трансформировавшемся ландшафте, в названиях улиц и в памятниках, тоже меняющих свой ореол и облик. Стихийно складывавшийся местный образ истории был ориентирован не во времени, а в пространстве – город располагался между Москов-



скими воротами и Амурскими, названия которых символизировали вектор движения как расширение государства. А простор всей Сибири, особенно на восток до самого океана, – воспринимался как родной и общий. Как, впрочем, и вся российская история. Поэтому иркутские летописцы включали в свои записи общегосударственные события. Так, в «Летописи В. А. Кротова» в 1854 году упоминается благодарственный молебен о взятии Баязета и даётся подробнейшее описание защиты Петропавловского порта на Камчатке от английской эскадры. И внутреннее пространство Иркутска охотно подчинялось общей судьбе: памятник Александру III был поставлен лицом не к Ангаре и не к городу, а на восток – туда, куда уходила железная дорога Транссиба.

Футуристический порыв XX века перекроил ценностный облик пространства. Иркутск как имя собственное занял наконец своё славное место в общенациональном сознании благодаря революционной песне, слово из которой, как известно, не выкинешь: «Иркутск и Варшава, Орёл и Каховка – // этапы большого пути» («Песня о Каховке» М. Светлова, 1935, муз. И. Дунаевского). В истории гражданской войны город важен как её символический пункт – место расстрела Колчака, т. е. крушения белого движения. Но для участника гражданской войны важнее собственный опыт. П. Петров был среди защитников Белого дома в декабре 1917 года, и его поэтические воспоминания отмечены совсем не мажорными интонациями: «Так я сберёг суровые страницы // Иркутских битв семнадцатого года. // Трещал декабрь... Вставала Ангара... // И – вот в тумане непроглядно-сером // Нам первый залп послали юнкера. // А повторили штурмом офицеры. // И девять суток город был в огне, // А выюги злобно заметали трупы. // Здесь было всё, как на любой войне: // Жестоко, безрассудно, глупо» [цит. по: 5, с. 222]. Последние слова – абсолютное опровержение героически-патетического мифа, но стихи эти мало кому известны – они остались в архиве расстрелянного в 1941-м году писателя-партизана.

А хрестоматийную известность получила «Комсомольская песня» И. Уткина (1903–1944): «Мальчишку шлёпнули в Иркутске. // Ему семнадцать лет всего. // Как жемчуга на чистом блюде, // Блестели зубы // У него» [6, с. 78]. Эти стихи 1934 года написаны через 10 лет после переезда поэта в Москву и отмечены всеми приметами официального мифа: трагедия оптимистическая, образ врага – «японская “микада”» – чистая плакатная условность (японская



контрразведка зверствовала в Чите, но не в Иркутске), имя города уже само по себе легенда. А в юности, в 1924 году, Уткиным был написан другой «Расстрел», и в нём правда трагедии исключала какую-либо «привязку к местности»: «И просто так – // Без дальних слов – // Как будто был и не был...// За частоколами штыков // Так тяжело смотреть на небо...» [6, 20]. Но историческому мифу нужна не правда, а символ. В 1920 году И. Уткин стал первым иркутским комсомольцем, и чем дальше от времени вступления, тем значимее был этот статус, тем оптимистичней звучала «Комсомольская песня».

Разумеется, история заявила о себе магическим жестом – обновлением мира через переименования и разрушения-замещения. Переименования топографических осей – улиц Большой и Амурской – превращало их в исторические координаты общего существования – священные имена Карла Маркса и Ленина. Но такие улицы были везде, пространство городов универсализировалось и отчуждалось от местной истории. Однако в обыденном сознании иркутян имя и фамилия теоретика революций слилось в звуковую формулу наподобие абракадабры (дети смеялись: улица карлы-марлы), и эта «заумь» вполне соответствовала высокому статусу главной магистрали города. Но, несмотря на «идеологический ореол» улицы, не встретилось её прославлений в стихах советского времени: поэты тех лет просто не замечали город – ни в гражданской поэзии, ни в лирике. А в раскованном сознании наших современников упоминание топоса – условие запечатления настроения, но не истории, а настроение это потерянное: «В развале книг листаю мышь Карнеги...// Стою на Карла Маркса у аптеки...// Где выход тут? / Кричу прохожим. // В ответ лишь ветер задувает в рожу...» (А. Тимченков, «Лабиринт») [7, с. 113]. Деидеологизация топоса даже не заявлена, она совершается как бы сама собой – космос стал хаосом, в лабиринте которого смешались все координаты и сущности: «На Тимирязева, / на Карла Маркса // толпились ангелы у бочек с квасом...» [7, с. 114]. А там, где нет центра, нет и выхода.

Примечательно, что и памятник Ленину ценностно как будто не существует в сознании горожан, свидетельство тому – его отсутствие в лирике иркутских поэтов. Нужно было, чтобы приехал французский поэт Жан-Жак Витон и заметил: «в одном из сквериков Иркутска памятник Ленину // огромная статуя каменный плац развевается // вытянутая правая рука предлагает пригоршню снега // циркулирует <трудности перевода? – И. П.> над мёртвыми кустами



// неустающий мелкий снежок» [8, с. 130]. И иные пространства, осенённые именами революционных вождей и героев, потеряли свой сакральный статус. Знаменательна редукция административного центра города – сквера им. Кирова и площади, по которой мимо обкома, т. е. средоточия власти, некогда шествовали демонстрации, – до уютного места иронических медитаций: «Я сидел на Сквере с бутылкой пива, // Сочинял стихи и смотрел на женщин, // И фонтан шумел, как сама природа» (В. Науменко, «Близнецы») [9, с. 170].

Знаменательно, что язык ещё помнит, что действие происходит на площади, отсюда имя собственное – «я сидел *на* Сквере», хотя сам по себе сквер – всего лишь озеленённое пространство. Примечательно, что власть языка оказывается сильнее исторической памяти: площадь Декабристов и улица Декабрьских Событий воспринимаются иркутянами как тавтология, причём в пользу декабристов. Когда-то в 60-х переименование улицы Красной Звезды, ведущей на площадь, в улицу Сухэ-Батора оценивалась населением как предательство родной и славной истории ради химеры монголо-советской дружбы. Сейчас революционный миф с улицами Борцов Революции и Рабочего Штаба буквально вытеснен на задворки памяти и периферию коммерциализированного и деидеологизированного центра. Эрозии памяти способствует бездарность монументов, выполненных в «суровом стиле» 60-х, – и на месте погребения защитников Белого дома, о жестоких боях за который писал П. П. Петров, и на улице Профсоюзной – на братской могиле рабочих-железнодорожников, участников антиколчаковского восстания конца 1919 года. Что касается переименований в честь реабилитированных жертв Большого террора, то и тут язык может сыграть злую шутку, когда в трамвае спрашивают: «Где тут остановка Трикиллера?» (чекист М. Трилисер вряд ли предполагал такую посмертную славу).

Военная память – не публичное чувство. Самым лирическим памятником стала «Баллада о тополях» М. Сергеева (1926–1997), в которой аллея, посаженная выпускниками школы № 80 накануне 22 июня 1941, стал метафорой шеренги защитников и продолжения жизни погибших: «...И вот / мы к тополям / вернулись снова, // но впятером / из двадцати шести. <...> Но, / будто бы друзья мои – солдаты, // стоят деревья / в сомкнутом строю, // и в каждом я, / как в юности когда-то, // своих друзей приметы узнаю» [10, с. 231]. После реконструкции школы в конце 90-х от тополей осталось только стихотворение. Для нового поколения знаки прошлой славы условны,



потому что разрыв времён переживается как необратимый и не нуждающийся в рефлексии: «Удобно дали наблюдать // с вершины танка у фонтана. // Направо толстый магазин, // налево – груды новостроек. // И дуло смотрит в пустоту // судьбы, эпохи и сознания. //// В той части города есть храм. // Он так же, в сущности, удобен» (И. Клошар) [11, с. 16]. Вехи пространства – танк Т-34 из колонны «Иркутский комсомолец» и деревянная часовня Иваново-Матрёнинской детской больницы – как перемены ценностных векторов социального времени, которое не влияет на личностное сознание. Уравнивание танка и храма – знаменательный жест даже не нигилизма, а освобождения от власти любого мифа. Тот и другой представлены не как священные опоры души, но как физические подпорья, буквальная «точка обзора» и точка отталкивания в мыслительных операциях, «нацеленных» на избавление от власти агрессивной материи («толстый магазин») и фиктивного, рассыпающегося времени («груды новостроек»).

Ныне история мыслится скорее не как присутствующее, но как отсутствующее прошлое, настолько отдалённое, что оно не имеет никакого влияния на настоящее – ни фатального, ни реального, ни этического, ни эстетического.

### МИФ СОЦИАЛЬНЫЙ

Это миф преобразований и гуманистической наполненности времени. Он устойчивее исторического, поскольку универсален, позитивен, имеет материальное подтверждение и отражается в судьбах самого широкого круга людей. Конкретно – это миф прогресса и научно-технической революции, сфокусировавшийся в строительстве ГЭС. Первая из великих ангарских строек опять выдвинула город на авансцену, породив феномен «Иркутской истории» в поэзии, прозе и драме. Но этот миф стал жертвой сотворившей его идеологии: степень героизма измерялась мощностью киловатт и высотой водосброса – и наша ГЭС скрылась в тени Братской с её счастливым именем и вдохновенными певцами и композиторами. Но 50-е годы остались за Иркутском – «они были первыми».

Для историков города событие было столь значимым, что хроника строительства расписана по дням – с 17 марта 1950 по 31 декабря 1956 года, а кульминация перекрытия – буквально по мину-



там: с 7 часов вечера 7 июля до 7 часов утра 10 июля 1956 года [2, с. 344–345]. Литературный сюжет следовал за идеологией-технологией – все вехи производственного процесса стали содержанием литературных произведений: отмечено прибытие шагающего экскаватора, резко ускорившего темпы работ, а в процессе перекрытия – первые кубы, унесённые рекой, долгожданное появление насыпи на поверхности и, наконец, соединение перемычки. Так миф героический отождествился с художественным, но – только в текстах приезжих авторов.

Первым оказался будущий диссидент-невозвращенец, а тогда энтузиаст А. Кузнецов (1929–1979) с романом «Продолжение легенды. Записки молодого человека» (1957), который сам стал легендой – началом оттепельной молодёжной прозы. Её «исповедальность» обеспечивалась искренностью и драгоценной теперь достоверностью, с которой и воспроизводится топография стройки и быт гидростроителей. Кузнецов работал бетонщиком летом 1956-го и описал перекрытие как очевидец-участник и в точном соответствии с событиями официальной хроники: «В семь часов вечера всё началось тихо и осторожно. Лязгнул экскаватор, вывалил в первый кузов ковш камня, самосвал рванулся и пошёл на мост» [12, 54]. Зафиксирован момент, когда наконец-то из воды показались первые кубы, энтузиазм толпы, всю ночь следящей за напряжённым и опасным процессом. Правда, срок перекрытия сокращён на сутки – ради интенсивности описания коллективного подвига.

Событие так и определяется по главам – «Битва», «Ещё битва», «Продолжение битвы», чтобы оно перешло в «Продолжение легенды». А в ней завершается хрестоматийное предание о бегстве непокорной Ангары к Енисею и сформулирована суть советского индустриального мифа: люди «заставили Ангару и Енисея работать. Добывать для людей свет, радость и тепло. / Тогда случилось чудо. / Тогда поняли Ангара и Енисей, что до сих пор было их счастье малым, и ничего они в жизни не знали и не видели. / Потому что тот, кто не трудится, не работает, а только разбрасывает алмазные брызги, – тот ничего в жизни не понял. Потому что работать, нести с собой радость, свет и тепло – это и есть самое-самое большое, самое-самое великое счастье на земле. / Настоящее счастье – трудное счастье» [12, с. 57]. Последняя фраза – ключевая для романтического мифа 50–60-х, достаточно вспомнить чудесный вальс-песню про танцующих на палубе: «Верят девочки в *трудное счастье...*».



Поэма А. Твардовского (1910–1971) «На Ангаре» появилась в составе книги «За далью – даль» в 1958 году. Она тоже описывала перекрытие как грандиозную боевую операцию, не менее пафосно, в живописных подробностях и даже достовернее – с упоминанием аварийной ситуации: «Весь век бежавшая вода // Не собиралась кончить миром...<...> Чуть стихла, силы притаив, // И вдруг, обрушив левый берег, // в тот узкий кинулась прорыв...» [13, с. 586]. Твардовский был очевидцем «в числе растроганных зевак» [13, с. 587], но видел событие шире – как преодоление всяческого зла, что и есть коренная тема эпоса. Его поэтический эпос тоже вырастал из социального – героической миссии разума и воли, покоряющей ярость стихий: «Начальник подошёл. / – Ну, как? // Поэма будет? Чем не тема! – // И я, понятно, не простака, // Ответил: / – Вот она, поэма!» [13, с. 587].

Но особая ценность гидростроительного мифа заключалась в идее объединения всех в общей созидательной истории и разрешения наконец-то всех прошлых трагедий. В том числе преодоления сталинизма, который, впрочем, даже нельзя было назвать своим именем – и это входило в условия нового мифотворчества. Теперь «в семье сравнивались трудовой» «и те, кто по иным причинам // Однажды прибыли сюда <...> Всего видали до поры, // Бывали дальше Ангары...» [13, с. 584]. Событие объединяло всех: «С утра, с утра // В тот день воскресный, // Во что горазд принаряжён, // И городской народ и местный, // И свой на стройке и безвестный, // Забрав подруг своих и жён // С детьми, – на праздник необычный // Теснился, точно в ГУМ столичный... <...> И пестр, и ярмарочно ярко, // И вместе строг был этот сбор» [13, с. 580]. Текст этот написан, как живой плакат: и преодоление трагедий, и всенародная радость, и коллективная совесть, и союз кипучей воды с могучим бетоном. Всё это повторится через 6 лет в «Братской ГЭС» Е. Евтушенко – не как эпигонство, но как прописи тогдашнего социального мифа.

А. Арбузов (1908–1986) в 1959 году нашёл для него счастливую омонимичную формулу – «Иркутская история», т. е. локальная драма и местная версия великих событий. Автор интегрирует мелодраму и производственную пьесу, чтобы перевоспитать «местную Магдалину» (по оценке В. Астафьева), духовно подготовить её к трудовым подвигам и решить заодно проблемы любовного треугольника. Всё это разворачивается на берегу Ангары и под сенью того самого шагающего экскаватора, который стал эмблемой технического про-



рыва. Герои отчётливо сознают, что должны «вполне соответствовать стройке коммунизма» [14, с. 578], и все вместе разыгрывают известную тогда коллизию борьбы хорошего с прекрасным. Положительный Сергей высказывает возлюбленной своё кредо – формулу призвания собственного поколения: «Вы не улыбайтесь, вся вторая половина двадцатого века – наша будет, сибиряков то есть... Сюда сердце России <sic! – И. П.> перемещается – вы уж мне поверьте...» [14, с. 574]. В подтверждение веры следует цитата, и на сей раз это не классики марксизма, а сакраментальная формула Ломоносова о российском могуществе, которое будет прирастать Сибирью. Сергей не просто положительный, но – идеальный, ибо человек местный, т. е. сибирский, и из рабочей среды: он явился из Черемхово, чтобы спасти всех, но погибнуть самому. В литературе 50-х ещё существовал не очень глубокий «комплекс неполноценности» благополучного центра перед подлинной жизнью романтической периферии – в Иркутске он модифицировался в признание духовных приоритетов шахтёрского края, о революционных заслугах которого ещё помнили.

Но Арбузов всегда отличался умением придать идеологическому мифу психологическую достоверность и человеческое обаяние. И здесь он заземляет историю, чтобы она была именно «иркутской», вводит пространственные подробности, например, упоминание о фотографии «с улицы Маркса» (настоящий иркутянин так никогда не скажет!), которая находилась напротив Художественного музея. Коренные сибиряки идеальны: один строитель едет «на Слюдянку к отцу» [14, с. 595] (видимо, предполагается, что это река), который в 75 лет «в случае надобности Ангари переплывает» [14, с. 612] (в Слюдянке – на берегу Байкала!). Но все эти милые неточности вызывают теперь чувство благодарности за усилия, а 50 лет назад побуждали к гордости, помноженной на сочувствие страдающим героям. И, несмотря на то, что живых и мёртвых объединяет всё то же чудо техники – шагающий экскаватор, история сохраняет своё человеческое измерение, т. е. социальный миф живёт и убеждает.

А сами иркутяне откликнулись на перекрытие Ангари лишь поэтической риторикой. Но знаменательно, что темой этой риторики стало преобразование водной стихии. Сначала бакенщик «у костра посидит, помечтает // И увидит громады плотин, // Словно въявь тут завод вырастает, // Слышен рокот могучих турбин...» (И. Молчанов-Сибирский, «Бакены на Ангаре», 1950) [15, с. 87]. Потом удивились – Иркутск, когда-то снаряжавший морские экспедиции, теперь и сам



оказался на побережье: «Море, где твой Шелихов и Дежнев? // А быть может, нынче люди тут // Сотворят в натуре море прежде, // А потом на карту занесут. <...> Не одним географам известно, // Что Иркутским ты наречено... // Море, нам с тобой трудиться честно, // Нам с тобой трудиться заодно» (В. Киселёв, «Иркутское море») [16, с. 56].

Примечательно, что поэт Иван Харабаров (1938–1969), уроженец села Тайтурка (недалеко от того самого Черемхово), подростком приехавший на строительство Иркутской ГЭС, о своей работе на ней не писал. Его первый сборник «Туесок» (Иркутск, 1958) рассказывает о таёжной «малой родине». Но уже Братской ГЭС посвящено не одно яркое стихотворение. Поэт горд – он у самого начала великой стройки: «Я стою на мысу – / там, где будет построена ГЭС, // Возле трёх островов – / там, где будет плотина построена. // Скоро три этих острова, хмурые скалы и лес – // Всё исчезнет навек, / станет небылью, станет историей» («Здесь будет ГЭС») [17, с. 139]. Показательны контекстуальные синонимы: «небыль» = «история». Поэт не сомневается, что «настоящее», подлинное время – это динамика и будущее, присутствующее в настоящем: «Далеко от Иркутска до Братска, // Но так просто / до Братска / добраться: // Два часа высоты / и простора // Да весёлая песня мотора! <...> Это ты ли, Сибирь, / предо мною? // И не прежние ль сосны и ели // Так шумят, / так гудят за спиною? // Нет! Могучие чудо-турбины // Шум таёжный давно заглушили: // Это в каменном теле плотины // Бьётся гордое сердце Сибири! » («Братск») [17, с. 141].

Любопытно, что Харабаров наконец-то совпал в мыслях и словах со своим земляком из «Иркутской истории»: «сердце России» совмещается с «сердцем Сибири» – так следует понимать метафору средоточия текущей истории и источника её энергии. Но мышление совпало примерно через пятилетку. Видимо, для искреннего, а не подражательного усвоения мифологической риторики всё-таки требуется не опыт, а то же время. Поэзия Харабарова, начинавшего как иркутский автор, – классический образец социально-мифологической рефлексии, она воспроизводит все опорные мифологемы регионального самосознания 50–60-х, которое мыслило в масштабе Сибири, а Сибирь – в единстве с Россией: первозданность природы – наследование ссыльным и борцам с самодержавием – прорыв в индустриальное будущее. Поэма «Московский тракт (Лирический дневник)» стремится объять памятью весь процесс освоения края и вехи революционной истории. Снимок царя в Тобольске – символ



отмщения за сгинувших в изгнании: «И в угрюмой тоске пилит царь дрова, // Там, где в землю легли декабристы» [17, с. 220]. Иркутску уделено место в главке «Незабываемое» в точном соответствии с мифом гражданской войны – это место расстрела Колчака: «Говоришь, спасал Россию, / адмирал? // От кого же? / От рабочих и крестьян?» // Как растерянно «правитель» умирал, // Будто помощи всё ждал / от чужих стран» [17, с. 226]. Миф программирует и мыслительные оценки, и эмоциональные реакции. Ненависть к расстрелянному самодержцу не остыла и через пятьдесят лет, впрочем, так же как и сочувствие декабристам.

### МИФ КУЛЬТУРНЫЙ

Этот миф, в отличие от социального, должен быть самоценным – предлагать собственную идею, причём отнюдь не местного уровня, и предполагать признание общезначимости этой идеи. Таким мифом стал пребывание декабристов в Сибири. Кто жизнью, а кто 30-ью годами заплатил за выбор одного дня, и политическое поражение обратилось в нравственную победу. Опыт декабристов реабилитировал Сибирь как пространство неволи и гражданской смерти. Здешняя история декабризма шла вразрез с мифологическим стереотипом революционера, ориентированным на героический поступок. Она открывала образ свободы духовной, демонстрировала долгий, тяжкий подвиг преодоления трагедии. Наконец, просветительская роль государственных преступников оказалась значительно плодотворнее их политических проектов.

Декабристская тема присутствовала в культурном сознании писателей-иркутян ещё в XIX веке. Уже в романе И. В. Омулевского упомянут некий государственный преступник, которого в молодости сопровождал в ссылку отец Светлова и был покорён его благородством. Это факт биографии отца писателя, служившего тогда исправником. После революции краеведы и фольклористы собирали предания о жизни декабристов в Малой Разводной, Урике, Олонках, и под редакцией М. К. Азадовского в Иркутске публиковались материалы и исследования [18]. Духовный пиетет присутствовал в городской культурной памяти и до официального санкционирования и организации музеев. Об этом свидетельствует стихотворение того же И. Харабарова «Дом Волконского в Иркутске»: «Не мраморно-



мемориальный, // А срублен из брёвен литых, // Стоит этот дом коммунальный // С другими домами впритык. // Я помню, как здесь, в этом здании, // С заветною книжкой в руке, // Сбежав от домашних заданий, // Мы прятались на чердаке. // На окнах куржак серебрится; // Пора бы идти уже спать, // Но книгу мы / про декабристов // Читаем опять и опять» [19, с. 28]. Романтикам 50-х не нужно было далеко ходить за примерами идеальных героев истории. А в оттепельное время декабристский миф приобрёл особый аспект: самоотверженные дворяне как оппозиционная интеллигенция, благородные тираноборцы, сохранившие свободу духа в условиях полицейского режима.

Расцвет иркутского декабристоведения наступил в 60–70-е годы, когда тема эта уже конкурировала с официальной идеологией революционности. Особую роль в популяризации благородных образов сыграл поэт и глава местного отделения Союза писателей М. Сергеев (1926–1997), чей культурный авторитет в городе был безусловен. Он оставался главным просветителем и лицом городской интеллигенции до самой своей кончины. Его собственный дар, добрый и ясный, очень точно соответствовал духовному ореолу декабристской темы. В стихах и в прозе [20] воссоздавались идеальные образы, которые отвечали хрестоматийному канону тираноборцев, но сохраняли личностное обаяние. Николай Бестужев – «бунтарь и пахарь, барин и изгой» [21, с. 50], Иван Горбачевский – одинокий хранитель высокой любви к Александрине Муравьёвой и лампы на её могиле: «покуда живёшь ты на свете – // душа Муравьёвой жива» [21, с. 53]. И Михаил Лунин «в тихом Урике» борется с властью, используя её же оружие – перлюстрацию его «подрывных» писем, и заплатит за это жизнью: «Но будут плакать мужики в тревожном Урике, // но будут письма / и взрываться, / и лететь» [21, с. 55]. Культ декабристов, действительно, имел широкую поддержку, миф жил, потому что и идеал являлся в самом живом воплощении. Н. Бестужев и И. Горбачевский к Иркутску прямого отношения не имели, но город любил всех и, став родиной нового мифа, готов был признать себя сибирской родиной всех страдальцев.

Собственный культурный миф Иркутска предстояло создать А. Вампилову и В. Распутину, чей творческий дар и произведения стали событием общенационального масштаба и влияния. Но парадокс в том, что оба они к этому никак не стремились. Разумеется, мифы складываются не в результате осуществления чёткого проекта. Должен сработать эффект узнавания. Сила и обаяние художествен-



ного образа должны замкнуть цепь между ним и реалиями пространства и заставить нас видеть их сквозь литературную призму.

Писатель может прикладывать чрезвычайные усилия для сотворения собственного мифа, как культивирует Е. Евтушенко образ своей духовной родины – «станции Зима». И этот культ поддержан зиминцами, не избалованными вниманием большой литературы и даже открывшими музей в честь поэта, который, строго говоря, их земляком не является. И счастье Иркутска, что он оказался только транзитным пунктом на пути Евтушенко к славе: «Лечу! / И радостно и грустно // понять всей логикой ума, // что шесть часов мне до Иркутска, // а там – / и станция Зима» («Откуда вы?» (из поэмы), 1956) [22, с. 117]. Миф всё-таки рождается из власти художника над сознанием читателей и поддерживается его абсолютным авторитетом.

В случае А. Вампилова (1937–1972) и В. Распутина, которые сами – оправдание Иркутска на Страшном суде литературной истории, есть и власть, и пиетет – но в местном пространстве нет конкретной общеизвестной точки для их приложения. Разве что бывший планетарий – теперь опять Троицкая церковь – где готов был венчаться пьяный Зилов [23, с. 232] и рядом с которым на ул. Чкалова, 4 находится дом, где состоялось его счастливое свидание с Галиной (он имеет отношение и к жизни самого драматурга) [24, с. 338]. А распутинская проза посвящена и адресована не городу, а миру – природе, деревне как её части и Ангаре, живой в памяти и превратившейся в мёртвую воду тех самых морей, что прославлялись в 50–60-е годы.

В сборнике «Мир Александра Вампилова. Материалы к путеводителю» есть разделы «Памятные вампиловские места» [24, с. 335–339] и «Иркутск в жизни и творчестве Вампилова» [25, с. 417–421]. Первый посвящён официальным знакам – памятникам, мемориальным доскам и т. д. Второй – тем реальным местам и адресам, где бывал драматург и где происходит действие его пьес. Знаменательно, что это неизбежное расхождение официальной и духовной памяти привело к казусу присвоения имени Вампилова совершенно чужому для него пространству. Недоразумение связано с ошибочным отождествлением предместья «Ново-Мыльниково», где происходит действие «Старшего сына» (1967), с Ново-Мельниковым (теперь микрорайон Первомайский), где в 1987 году именем Вампилова названа улица, а на торце дома помещён его портрет. Но район этот не так отдалён от города, как в пьесе, к тому же «свидетельства знавших Вампилова позволяют предположить, что <...> прототипом вы-



мышленного Ново-Мыльниково является, скорее, <...> Ново-Ленино» [24, с. 337], где драматург жил долгое время.

Но в этом несоответствии сказывается, очевидно, собственный миф Вампилова: он сам последовательно убирал из текста и ремарок всё, что как-то привязывало события к конкретным местам и названиям. «Прощание в июне» имеет множество редакций, а в первой развязка совершалась на вокзале. Пространство не только узнаваемо, но и пронизано чувством, Колесов говорит: «Смотри – убрали состав – вон он, наш городишко. Набережная, университет... Пять лет назад я приехал в этот город, вышел из вагона и спросил, где университет. Мне показал: во-он, на том берегу. Я помню, как мне захотелось броситься туда вплавь, напрямик – так не терпелось всё это начать...» [26, с. 251]. Итоговая редакция переносит действие в совершенно условное пространство выпускного вечера в университете: «Терраса, за ней окна зала, закрытые шторами. На террасе несколько столиков» [26, с. 84]. Очевидно, обстановка то кафе (прототип «Незабудки» из «Утиной охоты», 1968, не сохранился [24, с. 338]), то чайной (место действия последней драмы «Прошлым летом в Чулимске», 1972) – сродни сцене и потому чрезвычайно привлекательна для драматурга: его образ пространства тяготеет к естественной открытости и условности. Поэтому дважды упомянутый в пьесе точный адрес квартиры Зилова – «Маяковского, 37, кв. 20» – фиктивен: нет на этой улице ни такого номера, ни «типовой новостройки» 60-х на нечётной стороне, если не признать за таковую кирпичную оштукатуренную пятиэтажку по чётной стороне на углу с 2-й Железнодорожной, но она никак не «у моста», а за полкилометра от него. Вампилов произвёл анализ тенденции, опередивший своё время. Есть «миф Зилова» – неуловимый образ, обаятельный и отталкивающий, трагический и тупиковый, сегодняшняя реинкарнация Дон-Жуана, деромантизированный Печорин, дегероизированный шестидесятник. Зилов – вырождение либеральной мечты о вольнолюбивом индивидуалисте, это пустота, сознающая самое себя, – и такой миф и не может быть где-то локализован.

Кто как не Вампилов знал цену своему делу и понимал значимость выведенных на обозрение конфликтов, типов, характеров. «Прощание в июне» (1966) – пьеса о молодости, и мир физический, материальный важен для выбора пути. В ней больше всего иркутских реалий – от узнаваемой когда-то, но не теперь автобусной остановки Бытовая, где начинается и кончается действие, до ликвидации



Лисихинского (или Иерусалимского? – мнения иркутян расходятся) кладбища, на месте которых теперь парки культуры и отдыха. Но в зрелых пьесах действие разворачивается в пространстве не столько физическом, сколько духовном, его вехи – разные человеческие типы, совершается ценностный выбор, потому локализация, заложенная в наивно-патриархальном «Предместье», переориентирована на общее и пьеса переименована в «Старший сын» (1967). Поэтому в иркутских сценах отсутствует такой узнаваемый символ города, как Ангара, – она и не нужна и слишком «заезжена» советским мифом. Может быть, молодой драматург опасался попасть в тень «Иркутской истории» – он сознавал масштаб своего таланта и избегал провинциальной ауры. А может быть, случилось то, что Вампилов – приезжий, его детство не пронизано здешней атмосферой, молодость амбициозна – Иркутск так и остался для выходца из посёлка Кутулик «нашим городишкой», милым, но не самоценным пространством.

Но вампиловский миф всё-таки существует – «благодаря» трагической смерти. Любовь искренняя стимулирует неповоротливую административную, и вместе они творят культ не столько личности, сколько великого, но близкого нам автора. Писатель смотрит на город с портрета во всю панельную стену на окраинной улице его имени, с трёх мемориальных досок в центре города на расстоянии 200 метров друг от друга и, наконец, явился в образе статуи в театральном сквере. Театры, университет, главные улицы – всё культурно-интеллектуальное средоточие принадлежит Вампилову. Но примечательно, что, «списанные» с фотографий, изображения искажают лицо, а у скульптуры, удачно поставленной прямо на землю, лица просто нет – ни взгляда, ни выражения, есть только образ вольной молодости. Может быть, это закономерно для мифотворчества – чем дальше, тем меньше сходства. Но на самом деле символично другое – «забронзовевшая» неадекватность поздних прочтений человеческой и творческой личности Вампилова.

Распутин – тоже не бытовой реалист, а живописец бытийности, и если ему нужны подробности, то они носят знаковый характер. Разумеется, он призван говорить от имени природы, причём всех её стихий, кроме огня. Его мир – это сфера: Байкал, вольная ещё Ангара, прилегающие земли и воздушный простор, охватывающий целое. И если уж появляется город, то событие это чрезвычайное прежде всего для самого писателя. При этом он видит *чувствуя* – и благодаря этому создаёт психологически узнаваемый образ пространства.



Он умеет высказаться за всех, *не называя ни город, ни Ангару*, – как и мы не называем их в своём сознании. Как и для всех, сакральный центр *его* города – *набережная*. Но Распутину она, может быть, роднее, чем кому-либо, потому что это всё-таки та самая Ангара, на которой он родился, вырос и из которой буквально черпает силы и вдохновение.

Вот как выглядит любимое место при описании реальной прогулки с дочерью: «...Мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, тёплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, восходя с каждым новым днём с постоянством неурочной, как бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и тёплая, так располагающая к согласию осиянность вечерающего дня» («Что передать вороне?», (1981) [27, с. 12–130]. Все слагаемые идеального состояния мира налицо: простор, движение, тишина, просветлённость, благодать, красота, доброта – всё в живой гармонии.

В исторической публицистике портрет города написан с акцентом на его славное и драматическое прошлое и соответствует всем общим положениям здешнего мифа – Иркутск как точка пересечения всех линий общей истории Сибири. С особое любовью и печалью описаны храмы, утрата и обретение мощей святителя Иннокентия, покровителя края. Такая позиция продиктована идеей памяти и проповедует самобытность как духовную обязанность исторического центра, который должен вернуть себе право на исконное: «негоже Иркутску, пришедшему издалёка, увековечить имена людей, не имевших к нему благодетельного отношения» («Иркутск», 1979, 2000) [28, с. 268]. Писатель отозвался на беды последних десятилетий: «падали самолёты, гремели выстрелы, горела деревянная старина...» [28, с. 265]. Итоговые размышления представляют город как патриархального отца – с неистощимой и взыскующей любовью: «Наступят лучшие времена. Но и в худшие, и в лучшие каким-то вседержительным оком, тревожным и внимательным, всматривается Иркутск в нас: какие бы вы ни были, все вы мои ...» [28, с. 268].

Но доминантный художественный образ города у Распутина всё-таки негативный. Вначале это было тревожное пространство пустынной вокзальной площади, когда Кузьма («Деньги для Марии»



1967) приехал к брату за спасением, и утробно-подпольный хаос железнодорожных глазковских домишек, укрывших невольного дезертира Гуськова («Живи и помни», 1974). С 90-х годов город стал предметом пристального рассмотрения в соответствии с концепцией современности: здесь совершается насилие над стихией и правдой национального существования. Теперь точность описаний места действия первостепенна – это документ времени, свидетельские показания на будущем суде истории. И рассматривается не природный Иркутск, а город-торжище, где правят нерусские – и власть, и приезжие, ставшие хозяевами жизни. И город этот автор избегает называть по имени. И никакой реки в этом городе нет.

В рассказе «Нежданно-негаданно» (1997) запечатлён Торговый комплекс, на ступеньках которого сидит девочка, принадлежащая «Ахмеду» и бандитам, и «Шанхай», от которого еле унёс ноги простодушный деревенский житель. Рассказ «В одном сибирском городе» (1994) – ответ на московские события октября 1993 года: описывается сквер с фонтаном и площадь перед серым Домом [29], где начинается гражданская война власти и народа. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» (2004) скрупулёзно точна в топографии, абсолютно достоверна в деталях – и это условие концептуализации. Эпицентр города – рынок, на котором заправляют кавказцы, от него исходит и распространяется зараза продажности. В окрестностях рынка, как под действием расходящейся ударной волны, творится насилие и предательство. На узнаваемой, но не названной улице Урицкого – торговой магистрали – находится та самая прокуратура, где царит измена и где должно свершиться возмездие. Имя города приведено в криминальном контексте: «В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря» [30, с. 148]. Расстрел ингушей Кодзоевых – реальный факт, и он работает на образ современной истории как тихой оккупации родной земли пришельцами в предательском сговоре (коллорабационизме) властей с насильниками.

Негативный образ города – авторский миф Распутина. Будет ли он поддержан сознанием горожан? Психологическая почва есть – сочувствие жертвам, яркий поступок отмщения, освятивший уродливое пространство (даже если само убийство не одобряется), благодарность за узнавание убогих, но родных мест в литературном описании. Скорее всего, из всей картины мира, выстроенной писателем, будет изъято одно звено – торговая улица Урицкого, на которой



свершилось возмездие. Остальное – для историков литературы. Сам Распутин связывает развитие города с религиозно-культурным возрождением всей жизни и соответствующим воспитанием населения. Его собственная роль в современной истории – пророк властьпредержащий: изобличитель пороков, защитник истинной веры, но – и судия.

## МИФ ЛИРИЧЕСКИЙ

Когда иссякает власть генерального, большого, объединяющего мифа – а у природных индивидуалистов наперекор пока ещё действующему – выстраивается свой собственный образ мира. Иркутск поучаствовал в этом процессе, сам об этом не подозревая, став пунктом личной и творческой биографии великих и замечательных российских поэтов.

У раннего Бродского (1940–1996), побывавшего здесь по дороге в геологическую экспедицию, есть путевая отметка: «Я ждал автобус в городе Иркутске, // пил воду, замурованную в кране, // глотал позеленевшие закуски // в ночи в аэродромном ресторане. <...> И вот летел над облаком атласным, // себя, как прежде, чувствуя бездомным, // твердил, вися над бездною прекрасной: // всё дело в одиночестве бездонном». Вывод, однако, оптимистический: «Не следует настаивать на жизни // страдальческой из гордого упрямства. // Чужбина так же родственна отчизне, // как тупику соседствует пространство» (1962) [31, с. 172]. Так в литературу вошёл «город Иркутск» – неприглядно-обыденный, увиденный скептически-отчуждённо. Он стал жертвой собственного экзистенциального мифа Бродского – отрешённости от здешней действительности ради абсолютной духовной свободы. Уничижительный для иркутян образ города-тупика, в котором певец водной стихии заметил не Ангару, а только влагу, «замурованную в кране», – очередная чужбина для пролетающего мимо 22-летнего поэта (как когда-то для ещё более юного Пушкина чужбиной был целый мир, а отечеством – Царское Село!). Но Иркутск зафиксирован и как место осознания пошлости гордыни и трагической позы – и этот императив останется на всю жизнь.

Лирический миф складывается не под давлением-влиянием извне, а естественно – из опыта чувств и сознания собственной судьбы. Для других поэтов, посетивших Иркутск в свои «минуты роковые», город стал именем собственным пережитой любви, стал вехой в



жизни – пространством, запечатлевшим время. В популярной песне Ю. Визбора (1934–1984) город – свидетель трудного объяснения перед расставанием: «А ты говоришь: «Люблю». // А я говорю: «Не лги» («Иркутск», 1967). В звучании имени «Иркутск» поэт угадывает *тоску* – поэтому город так простодушно откликается на ностальгию по пережитому чувству: «По мокрому по песку // Твой след унесла волна, // И грустно вздохнул Иркутск, // Наверно-таки спьяна» [32, с. 156]. Но для А. Межирова, который добирался сюда ещё на поезде, город, напротив, стал местом встречи с судьбой: «Валун прибрежный, камень донный // – Иркутск – вразброс и наобум, // Над Ангарой нагромождённый, // Ну, и для рифмы – Аввакум. // Надёжно обжитой тремя // Столетиями кровосмешений, // Куражится Иркутск весенний, // Кривые <sic! – И. П.> улицы прямя. // Не зря меня сюда манило, // Притягивало и влекло: // Иркутск в холодное стекло // С твоим прищуром смотрит зло, – // Вот мы и встретились, / Марина...» [33, с. 296]. Город послужит фоном вспыхнувшей роковой страсти – «вразброс и наобум», до «кровосмешений» – но и залогом её высшей правоты послужит вся трёхсотлетняя история.

А Ю. Левитанский (1922–1996), прожив здесь несколько лет по пути с войны, из Манчжурии в столицу, тоже обрёл свою любовь. Для поэта несомненно судьбоносное родство высокого чувства с могучим потоком: «...Меня опять по-прежнему влечёт // тот старый дом, где светлая вода // под самыми окошками течёт» («Твой дом стоял у самой Ангары...») [24, с. 27]. Безусловная правота этого ощущения останется на всю жизнь. Одна из лучших песен об Иркутске – «Песня о нашем городе» – соединила основные вехи судьбы поэта с жизнью города, но в условно-обобщённом лирическом сознании: «Когда мы шли военными дорогами // Сражений и походов боевых, // За падами таёжными, далёкими // Ты снился мне в землянках фронтовых». Припев тоже условен, но искренен: «Студёный ветер дует от Байкала, // Деревья белые в пушистом серебре. // Родные улицы, знакомые кварталы – // Город мой, город на Ангаре!» Сильный ветер и куржак на деревьях в реальности несовместимы, но вполне уживаются в сознании как свежие и острые образы чувств, а интонация, простая и ясная, больше говорит о настроениях времени, чем пафосные представления о будущем: «И скоро над Ангарскими порогами // Зажжём, как солнце, яркие огни». Уже уехав в Москву, Левитанский всем сердцем и существом – до буквализации метафоры – чувствует неразрывную связь не с единственным местом, но со



всем духовно освоенным пространством, переполненным животворной энергией: «Это во мне / снега по весне не тают // и ноздреватый наст / у краёв примят. // Птицы Сибири / в груди у меня / летают. // Реки Сибири / в крови у меня / гремят» («К морю стремился, / морем дышал на юге...») [34, с. 47]. Большой природный миф Сибири подчинил себе локальные ассоциации, но сокровенное не поглощено пафосным. В поздних стихах поэт-скиталец – «Откуда я – где жил я и где рос?» – вернётся памятью к сибирским рекам: «Когда уйду, глаза смежив навек, // предай меня, мой друг, земле сырой // там, где-нибудь в пространстве этих рек, // в пространстве меж Днестром и Ангарой» [36, с. 20]. Сибирские реки не только не ассоциируются с Летой, но заряжают духовной – не электрической – энергией на всю жизнь.

А иркутянам предстояло заново открыть свой город в 60-е годы, когда идея памяти становится формулой культурно-исторического самосознания. Когда власти эстетически реабилитировали прошлое и повсюду началась реставрация церквей, появилась и лирическая проза. Иркутянин Дм. Сергеев (1922–2000) написал о своём детстве, прошедшем во дворе собора Богоявления и на ангарском спуске. Повесть «Залито асфальтом» создаёт особый стереоскопический эффект: воспоминания 1969 года о давнем сверяются с нынешней глянцевою картинкой мемориального уголка города. Автор ведёт «археологические раскопки» своей памяти и передаёт эстафету читателю: «В то давнее майское утро тридцать первого года между Старым собором и Спасскою церковью простирался пустырь» [37, с. 11]. В конце вместе с читателем совершаем открытие-узнавание: «Фанерная дощечка, прибитая на запертых воротах у старой церкви, гласила: «Реставрацию храма Богоявления ведёт СМУ... прораб... бригадир...» / Неожиданным для меня было название церкви: в пору моего детства про неё все говорили: Старый собор – в отличие от Нового, который стоял на площади» [37, с. 69].

Повествователь погружается в память как в живое время: «тогда мы не только слышали, что Иркутск строился на болоте, – сами видели остатки первобытной хляби, в которой в слякотную пору вязли телеги и лошади. Сколько же всего утрамбовано под нынешний асфальт?» [37, с. 69–70]. Утрамбована была в том числе и память: автор в подробностях восстанавливает картину взрыва Нового – Тихвинского – собора и переживания очевидцев, но именно из-за живости картины повесть была опубликована через семь лет – только в



1976 году. Книга о собственном детстве превратилась в картину той народной жизни в Первую пятилетку, какую не заметили автор и герои «Золота» П. Петрова, от которой отгородился Завод, но которая показала человеческую цену индустриального прорыва. Дети тоже участвовали в истории – как свидетели, жертвы и посильные её творцы. Мальчишки сажали те самые тополя вокруг сквера, которые срубили в ходе реконструкции летом 2007 года в соответствии с нынешним вкусом. Непритязательная, как те тополя, искренняя и человеческая повесть оказалась литературным памятником ушедшему Иркутску и его жителям, детям с красными матерчатыми звёздочками, умиравшими в 30-х от голода, тифа и истощения сил. Она – душевный путеводитель во времени и пространстве и живое воплощение настоящего иркутского мифа – любовь к городу, в котором так тяжело жить и который всё равно пронизан светом и овеян мощной энергией ангарской воды.

### ЛИЧНЫЙ МИФ

Любовь к современному Иркутску надо выстрадать. Новое поколение это понимает. И понимает, что вина нелюбви ложится не на убожество погрязшей в провинциальном застое столицы Восточной Сибири, а на самого человека: «Когда ты выйдешь дряхлым вечером // Под эти звёзды, в серый снег // Предместий нищих, // Ты озябнешь // Не столько от сибирского мороза, // Не столько от того, что одинока, // Совсем не потому, что нечем жить – // А оттого, что слишком мало силы, // Чтобы любить всё это» (Игорь Клошар) [38, с. 11]. А отчаянье происходит от любви, чуть более ранний сборник того же поэта завершался рождением трагедии из духа музыки: «Табун домов к реке спускается. // Хвостами машут облака. // Любовь ничем здесь не кончается – // И не кончается тоска. // Я выхожу их дома зыбкого // Узнать, о чём поёт река. // Смываю музыкой ошибки я; // Как дым любви течёт строка. // Вот я бросаю в воду камешек – // Он меж колец идёт на дно. // Меня здесь нет, вам так не кажется? // Я этим дымом стал давно. // Сирени облачно качаются, // Слова бездомны, как вода... // Любовь навывлет – не кончается, // И долго падает звезда» [39, с. 52]. Ангара здесь не названа – это и не нужно, зато стих льётся с той же светлой и чистой энергией, что и её струи.



Коперников переворот в иркутской лирике свершился – она открыла не Ангару, а Реку. Разумеется, река присутствовала и прежде, но виделась вообще – в природном течении, а городские реалии были только препятствием на её пути: «В неё смотреться не устать, // Не разлюбить шальную... // Ломают часто грудь моста, // Грызёт канатов сбрую» (И. Молчанов-Сибирский, «Ангара», 1926) [40, с. 65]. Меняется понимание времени – меняется восприятие реки. Теперь она становится соучастником метафизической рефлексии. Пример – поэтическая интерпретация картины испарений в сумраке зимней стужи: «Человек отражается омутом, а не лицом // в разумной ангарской, в безумной январской воде. // Всеми языками человеческими и ангельскими // говорит фольга, вызванивает // новогодние подноготные. // Зеркало в городе-доме затянуло белым // королевского траура. // За простынёй – паром, за снегом – пустыней // человек отражается в зимнем холодном спектакле, // кровью перетекает // в жидкую зыбкую дверь» [41, с. 119]. Так Екатерина Боярских решает свои отношения с миром, и вода Ангары играет как живая и мёртвая – очень точный образ узнаваемого времени, его пронзительно-тревожного состояния над рекой. В это время и эту воду можно входить не единожды.

А искушённый в поэтических мифологиях Виталий Науменко фиксирует: «Уже река принадлежит искусству, // И облака уносятся, куда мы // не полетим, – за перевал моста <...> Я медленно гармонии учусь – // той, что опаснее огня, но слаще дыма. // А если через Шпиль необходимо // Пройти на одиноких парусах... // Я падаю, но, слава Богу, мимо» [42, с. 86–87]. Примечательно, как поэтически – до имени собственного – вырос «Шпиль», которого уже нет на набережной и на чьё место – на свой собственный постамент – вернулась не воспетая ещё фигура Александра III. Пока растрескавшееся подобие древних обелисков с 60-х годов венчало пьедестал с рельефными портретами Ермака, Сперанского и Муравьёва-Амурского и называлось памятником покорителям Сибири, оно воспринималось как всем известная деталь, примечательная веха пространства: «Панорама с выходом на шпиль» [43, с. 114]. Настолько, впрочем, привычная, что никто её и не запечатлел, не увековечил в стихах, кроме дальновидного лирика-культуролога.

Но есть безусловно доминантный образ молодой иркутской лирики – это трамвай. Контекст может быть самый разный. *Раздражённый*: «Трамвай бежит, как загнанная шавка, // поскуливая на повороте» (Андрей Тимченков) [44, с. 117]. *Любовный*: «Теперь туда,



где на часах // и каждый вечер // Не церковь тёмная в лесах, // а место встречи; // Змеей трамвайною в сирень // по сходству линий // Двух рук, которым эта сень // необходимей» (Виталий Науменко) [45, с. 14]. *Трагический*: «Я – трамвай. // Я от рельс ушёл. // И я с рельс сошёл. // И от тебя уйду...» (Елена Шерстобоева) [46, с. 28]. *Жизнеутверждающий*: «мчатся тучи выются тучи // бесконечность неба мучит // сверху снег летит колючий // через вечность станет лучше // еду третий круг в трамвае // где-то выйду где не знаю // дальше ехать не пускают // значит здесь и буду жить» (Екатерина Стародворская) [47, с. 208]. Очевидно, особая «трамвайная мифологема» сообщает о том, что этот образ, оставаясь реалией городской жизни, стал своеобразным медиатором между современностью и прошлым, пространством физическим и душевным.

Трамвай появился в 1947 году, первую линию проводили всем народом, и это стало событием городской истории [2, с. 367]. Для приехавшего через десять лет из столицы А. Кузнецова встреча с растерзанным «древнеегипетским трамваем» [12, с. 13] была таким же откровением об Иркутске, как и «байкальский омуль с душком» [12, с. 15]. Но для простодушного милиционера, который привёл в 1966 году Колесова на исправительные работы разрушать кладбище, этот символ прогресса был беспрекословным: «Будете тут на трамвае кататься» [23, с. 53]. Теперь же вечный и шумный двигатель иркутского транспорта напротив – создаёт ощущение старины, таков местный образ вполне ещё живучей вечности. Не то что иные реактивные: «Над Ушаковкой рея, самолёты // в пастуший звук вплетают распростёртый, // развёрнутый аккорд конца столетия, // надежд не оставляя на бессмертье...» (Андрей Тимченков) [44, с. 117]. Не романтическое и не техническое, но жизненное стало опорой сознания.

Иркутский миф вполне способен соединить трамвай и Ангару, мост и церковь, время и пространство. Потому что это жизнь города. Формула общего мифа найдена в стихах Сергея Иоффе (1935–1992). Высокая простота и ясность чуткой поэтической души не только интегрирует все «мифологемы», но соединяет мгновенное с вечностью: «Проникаю несуетным взглядом // в тот Иркутск, где не будет меня. // С нестареющей церковью рядом // пробегают трамваи, звеня. <...> Только я бы едва ли ответил, // в чём она, городская душа...// Этот звон, переменчивый ветер, // что балует, листву вороша, // купола, предзакатное солнце, // яркий блик на ангарской волне, // вековая резьба над оконцем // – всё как было когда-то, при мне. // Знать, не



страшно сокрыться в природе, // коли жил и томясь, и любя. // Ведь с уходом твоим не уходит // то, что в жизни превыше тебя» («Проникаю несуетным взглядом...») [48, с. 26]. В этих стихах узнаваемо всё и покоряет естественность интонации – та эмоциональная волна, что вызывает резонанс духовного со-чувствия и света. В них вера в здешнюю непомеркшую красоту, которая происходит от той бескорыстной любви, что знает: в ней самой и заключено бессмертье. Не физическое, но вполне осязаемое.

Главная пружина и духовная составляющая любого мифа – сознание людей, которым этот миф необходим. Их ожидания и вера делают миф реальностью. На оказавшихся вдали имя «Иркутск» действует магически, живущие здесь названием не злоупотребляют, а говорят «город», подразумевая центр, и едут «в город» даже с вокзала, просто «из-за моста». Иркутск, как всё близкое и родное, испытывает на верность и способность любить вопреки негативу, потому это пространство побуждает к работе духа, души и сердца. Не обязательно помнить о потускневшем «столичном» статусе, но нельзя не ощущать время, пронизывающее здесь всё – и центр, и окраины, может быть, из-за мощного течения Реки, даже если она невидима. А ощущение времени есть ощущение жизни, и здесь она больше, чем твоя собственная, потому что этот счастливо поставленный город, в отличие от иных административных центров и мегаполисов, не может разорвать связь с жизнью природы.

Природное чувство предопределяет особость социокультурной рефлексии – она не замкнута в локальном и побуждает к саморазвитию. Любовь к городу не приобретает форму банальной гордости – об этом свидетельствует лирика. И не закрывает глаза на бедственное, о чём говорит проза. Она представляет иркутянина персонажем национальной духовной истории, как это сделала драма. Ощущение самобытности придаёт уверенность, понимание несамодостаточности стимулирует к расширению кругозора и преодолению провинциальности. Очевидно, если иркутский миф связан с обострённым темпоральным чувством, то и формула его – особый дуализм большого (общего) и местного (личного) времени в здешнем самосознании. Каждое несёт свою правоту, но местное ищет формулу естественного, достойного, а не вынужденного резонанса с большой историей и культурой.



1. Летопись города Иркутска XVII–XIX вв. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1996.
2. Кудрявцев Ф. Иркутск. Очерки истории города / Ф. Кудрявцев, Г. Вендрих. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971.
3. Калашников И. Т. Дочь купца Жолобова : романы, повесть / И. Т. Калашников. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984.
4. Петров П. П. Золото : роман / П. Петров. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970.
5. Трушкин В. П. Партизан, писатель, гражданин // Литературный Иркутск / В. П. Трушкин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981.
6. Уткин И. Комсомольская песня / И. Уткин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973.
7. Тимченков А. Лабиринт // Иркутское время : альманах поэзии. 2003. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2003.
8. Витон Ж.-Ж. «Ту-тум-ту-тум». Отрывки из поэмы // Иркутское время : альманах поэзии. 2004. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
9. Стезя, зовущая нас по имени... Виталий Науменко // Иркутское время : альманах поэзии. 2003. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2003.
10. Сергеев М. Связь времён : стихи / М. Сергеев. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980.
11. Клошар Игорь. Чучело человека : стихи / И. Клошар. – Иркутск, 2004.
12. Кузнецов А. Продолжение легенды. Записки молодого человека // Роман-газета. – 1958. – № 2.
13. Твардовский А. Т. За далью – даль // Стихотворения. Поэмы / А. Т. Твардовский. – М. : Худож. лит., 1971.
14. Арбузов А. Н. Иркутская история // Театр / А. Н. Арбузов. – М. : Сов. писатель, 1961.
15. Молчанов-Сибирский И. И. Синий снег / И. И. Молчанов-Сибирский. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970.
16. Киселёв В. В. Шестой океан : стихи / В. В. Киселёв. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977.
17. Харабаров И. Стихи / И. Харабаров. – М. : Современник, 1977.
18. Элиасов Л. Е. Декабристы в фольклоре Сибири // Сибирь и декабристы. Вып. I. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978.
19. Харабаров И. М. Черемша : стихи / И. М. Харабаров. – М. : Сов. писатель, 1967.
20. Сергеев М. Несчастью верная сестра / М. Сергеев. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978.
21. Сергеев М. Связь времён : стихи / М. Сергеев. – Иркутск, 1986.
22. Евтушенко Е. Я сибирской породы : стихи / Е. Евтушенко. – Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1971.
23. Вампилов А. В. Утиная охота : пьесы / А. В. Вампилов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987.
24. Нарожный В. С. Иркутск в жизни и творчестве Вампилова // Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба : материалы к путеводителю. – Иркутск : Изд. ГП «Иркутская областная типография № 1», 2000.



25. *Солуянова Г. А.* Памятные вампиловские места // Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба : материалы к путеводителю. – Иркутск : Изд. ГП «Иркутская областная типография № 1», 2000.
26. *Александр Вампилов.* Драматургическое наследие / А. В. Вампилов. – Иркутск : Изд. ОАО «Иркутская областная типография № 1», 2002.
27. *Распутин В. Г.* В ту же землю... : рассказы / В. Г. Распутин. – М. : Голос ; Письмена, 1997.
28. *Распутин В. Г.* Сибирь, Сибирь... / В. Г. Распутин. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2006.
29. *Распутин Валентин.* В одном сибирском городе // Земля. – 1994. – 6 марта. – С. 12–13.
30. *Распутин В. Г.* Дочь Ивана, мать Ивана : повесть, рассказы / В. Г. Распутин. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
31. *Бродский И.* Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1 / И. Бродский. – СПб. : Пушкинский фонд, 1997.
32. *Визбор Ю.* Одиноким гитарист / Ю. Визбор. – М. : Эксмо, 2007.
33. *Межиров А. П.* Избранное: стихотворения / А. П. Межиров. – М. : Худож. лит., 1989.
34. *Левитанский Ю.* Стихотворения / Ю. Левитанский. – М. : АСТ; Харьков: Фолио, 2005.
35. *Левитанский Ю.* Течение лет : стихи / Ю. Левитанский. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969.
36. Мемориал. Юрий Левитанский // Иркутское время : альманах поэзии. – 2002. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
37. *Сергеев Дм.* Залито асфальтом // Конный двор : роман, повести / Д. Г. Сергеев – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989.
38. *Клошар И.* Отражение в осколках : стихи / И. Клошар. – Иркутск : Иркут. писатель, 2003.
39. *Молчанов-Сибирский И. И.* Синий снег / И. И. Молчанов-Сибирский. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970.
40. Екатерина Боярских // Иркутское время : альманах поэзии. 2002. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
41. Виталий Науменко // Иркутское время : альманах поэзии. 2004. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
42. Виталий Науменко // Иркутское время : альманах поэзии. 2002. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
43. *Тимченков А.* Лабиринт // Иркутское время : альманах поэзии. 2003. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2003.
44. *Науменко В.* Присутствие : стихи / В. Науменко. – Иркутск : ИП Сапронов Г. К., 2001.
45. *Шерстобоева Е.* Из сложноподчинённых предложений / Е. Шерстобоева. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2002.
46. Екатерина Стародворская // Иркутское время : альманах поэзии. 2003. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.
47. Мемориал. Сергей Иоффе / Иркутское время : альманах поэзии. 2002. – Иркутск : Издатель Сапронов, 2004.